

INSPIRIA

THE MAN
BOOKER
INTERNATIONAL
PRIZE 2021

ДАВИД ДИОП

НОЧЬЮ
ВСЯ
КРОВЬ
ЧЕРНАЯ



INSPIRIA

Давид Диоп
Ночью вся кровь черная
Серия «Loft. Букеровская коллекция»

текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67650239
Давид Диоп. Ночью вся кровь черная: Эксмо; Москва; 2022
ISBN 978-5-04-169144-8

Аннотация

Роман – лауреат Международной Букеровской премии 2021 года, Европейской литературной премии и Гонкуровской премии лицейстов.

Гипнотическое и душераздирающее повествование о воспаленном разуме, не способном совладать с горем и ужасами войны. Альфа Ндие, сенегальский солдат, сражающийся на стороне Франции во время Первой мировой войны, теряет на поле боя своего друга Мадембу Диопа. Без своего больше чем брата Альфа одинок и потерян, но находит спасение в жутком ритуале, который со временем начинает все больше и больше пугать своих товарищей по оружию. Как далеко готов зайти Альфа, чтобы загладить вину перед своим погибшим другом?

Насквозь пронизанный пулями и языческой магией, «Ночью вся кровь черная» напоминает о забытой главе в истории Первой мировой войны. Смешав традиции устного повествования с

сухим журналистским описанием ужасов жизни в окопах, Давид Диоп создал необычайную по силе и поражению историю о погружении человека в безумие.

Сложный и многогранный роман. Вначале обескураживает, но затем все более и более увлекает, заставляет сопереживать герою и его потере. Война в глазах добровольца-сенегальца еще более жестока и иррациональна, чем в глазах европейцев, и невероятно поэтичный язык романа, в котором видна связь с африканской устной традицией, зачаровывает и погружает в подобие транса.

"Настолько околдовывающий и глубокий, что его невозможно забыть". – Али Смит

"Безжалостный взгляд на войну, расу, мужественность и колониализм". – Вьет Тхань Нгуен, автор романа "Сочувствующий".

Содержание

I	7
II	12
III	14
IV	22
V	26
VI	28
VII	31
Конец ознакомительного фрагмента.	36



Давид Диоп

Ночью вся кровь черная

David Diop
Frère D'âme

© Васильева С., перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *

*Моему первому читателю, жене, чьи глаза
излучают мудрый свет; три черных самородка
улыбаются с твоей радужной оболочки.*

Моим детям – пальцам одной руки.

Моим родителям.

*Самые имена наши сливались в объятиях.
Мишель Монтень. Опыты. Книга 1*

*Тот, кто думает, предает.
Паскаль Киньяр. Смерть от мыслей*

*Я – два голоса, поющих в унисон. Когда один
затихает вдали, другой нарастает.
Шейх Хамиду Кане. Неоднозначное приключение*

I

– ... я знаю, я понял, я не должен был... Я, Альфа Ндие, сын очень старого человека, я понял, я не должен был... Видит Бог, теперь я знаю. Мои мысли – только мои, я могу думать, что хочу. Но говорить я не буду.

Все, кому я мог бы рассказать о своих тайных мыслях, мои братья по оружию, скоро уйдут – изуродованные, изувеченные, выпотрошенные так, что Господу Богу станет стыдно, когда они придут к нему в рай, или дьяволу – радостно, когда он будет принимать их у себя в аду, – уйдут, так и не узнав, кто я есть на самом деле. И оставшиеся в живых ничего не узнают об этом, мой старик отец ничего не узнает, и мать, если она еще на этом свете, не догадается ни о чем. Тяжесть позора не усугубит для них тяжесть моей смерти. Они и представить себе не смогут, что я думал, что делал, как далеко завела меня война. Видит Бог, честь семьи не страдает, во всяком случае внешне.

Я знаю, я понял, я не должен был. В прежней жизни я не решился бы, но в мире сегодняшнем, видит Бог, я позволил себе немислимое. И ни один голос не раздался у меня в голове, чтобы остановить меня: голоса предков, голоса моих родителей замолкли, когда я задумал сделать то, что в конце концов сделал. Теперь я знаю, клянусь тебе, я все понял, когда подумал, что могу думать все, что хочу. Это получи-

лось само собой, без предупреждения, свалилось на голову, стукнуло, как железный шарик, падающий с неба войны, в тот день, когда погиб Мадемба Диоп.

Ах! Мадемба Диоп, мой больше чем брат, умирал слишком долго. Это было так тяжело, бесконечно долго, с утра, с самого рассвета, до вечера, кишки наружу, все нутро на-выворот, как у жертвенного барана, разделанного мясником после церемонии. Он, Мадемба, еще не умер, хотя нутро у него уже было вывернуто наружу. Остальные-то попрятались в зияющие раны на теле земли, которые называют окопами, а я остался лежать рядом с Мадембой, вложив правую руку в его левую ладонь, и смотрел в исполосованное железом холодное синее небо. Трижды он просил меня добить его, и я трижды отказывался. Это было до – до того, как я позволил себе думать все, что хочу. Если бы тогда я был таким, каким стал сейчас, я убил бы его с первого раза, как только он меня об этом попросил, повернув ко мне голову и держа свою левую руку в моей правой ладони.

Видит Бог, если бы я тогда уже стал тем, кто я сейчас, я зарезал бы его, как жертвенного барана, ради нашей дружбы. Но я думал о своем отце, о матери, о внутреннем голосе, который приказывает, как мне быть, и не смог перерезать колючую проволоку его страданий. Я не пожалел Мадембу, моего больше чем брата, моего друга детства. Я последовал долгу. Я мог предложить ему только неправильные мысли, мысли, продиктованные долгом, людскими законами, а жа-

лости для него у меня не было.

Видит Бог, Мадемба плакал как ребенок, когда, обделавшись под себя и шаря правой рукой по земле, чтобы собрать вывалившиеся кишки, скользкие, как ужи, он в третий раз умолял меня добить его. Он сказал мне: «Милостью Божией и милостью нашего великого марабута, если ты мне действительно брат, Альфа, если ты и правда такой, как я думаю, зарежь меня как жертвенного барана, я не хочу, чтобы смерть вгрызалась своей пастью в мое тело! Не бросай меня в этой мерзости. Альфа Ндие... Альфа... умоляю... зарежь меня!»

Но именно потому, что он заговорил о нашем великом марабуте, именно ради того, чтобы не преступать людских законов, законов наших предков, я не сжалился над Мадембой и позволил Мадембе, моему больше чем брату, моему другу детства, умирать с глазами, полными слез, умирать, нашаривая дрожащей рукой в грязи, на поле боя, собственные кишки, чтобы засунуть их обратно во вспоротый живот.

Ах, Мадемба Диоп! только когда ты умер, только тогда я по-настоящему начал думать. Только после твоей смерти, в сумерках, я узнал, я понял, что больше не стану слушать голос долга, голос, который приказывает, навязывает выбор. Но было слишком поздно.

Когда ты умер, когда твои руки перестали двигаться, когда ты наконец обрел покой, избавился с последним вздохом от грязи и боли, только тогда я подумал, что не должен был тянуть, ждать чего-то. Я вдруг понял – слишком поздно, –

что мне следовало зарезать тебя сразу, как только ты меня об этом попросил, когда твои глаза еще были сухими и я сжимал в ладони твою левую руку. Не должен я был давать тебе страдать вот так, словно одинокому льву, которого заживо едят гиены, — с нутром навыворот. Я позволил тебе умолять себя из неправильных соображений, то были чужие, готовые мысли, слишком красивые, чтобы быть честными.

Ах, Мадемба! как я жалею, что не убил тебя еще утром, когда шел бой, когда ты просил меня об этом еще по-доброму, по-дружески, с улыбкой в голосе! Зарежь я тебя в тот момент, это стало бы последней доброй шуткой, которую я сыграл бы с тобой в этой жизни, и мы бы навеки остались друзьями.

Но вместо этого я оставил тебя умирать, ругая меня, плача, пуская слюни, воя, испражняясь под себя, словно ненормальный ребенок. Во имя сам не знаю каких людских законов, я бросил тебя на произвол твоей несчастной судьбы.

Может быть, чтобы спасти свою душу, может быть, чтобы остаться таким, каким хотели, чтобы я был пред Господом и людьми, те, кто меня воспитал. Но пред тобой, Мадемба, я оказался неспособен быть человеком.

Я позволил тебе проклинать себя, дружище, тебе, моему больше чем брату, позволил выть от боли, богохульствовать, а все потому, что я еще не умел думать самостоятельно.

Но как только ты умер, испустив последний стон, посреди вывалившихся наружу внутренностей, друг мой, мой больше

чем брат, как только ты умер, я сразу понял, что не должен был бросать тебя вот так.

Я немного подождал, лежа рядом с твоими останками, глядя, как в вечернем синем-синем небе пролетает искрящийся хвост последних трассирующих пуль. И как только тишина опустилась на залитое кровью поле боя, я стал думать. Ты же был теперь всего лишь кучей мертвого мяса.

Я сделал то, что у тебя не получалось сделать весь этот день, из-за того что рука у тебя дрожала. Я благоговейно собрал твои еще теплые внутренности и сложил их тебе в живот, будто в священный сосуд. В полумраке мне показалось, что ты улыбнулся мне, и я решил отнести тебя к нашим. Ночь была холодная, но я снял гимнастерку и рубаху тоже снял. Рубаху я просунул под твоё туловище, а рукава связал у тебя на животе, туго связал двойным узлом, который сразу окрасился твоей черной кровью. Затем схватил тебя в охапку и потащил в окоп. Я нес тебя на руках, как ребенка, мой больше чем брат, друг мой, я шел и шел по грязи, по рывинам от снарядов, наполненным грязно-кровавой водой, пугая крыс, вылезших из нор, чтобы поживиться человечинной. Пока я нес тебя на руках, я начал думать, думать самостоятельно, просить у тебя прощения. Я знаю, я слишком поздно понял, что должен был сделать, когда ты просил меня с еще сухими глазами, просил, как просят друга детства об одолжении, о чем-то само собой разумеющемся, запросто, без церемоний. Прости.

II

Я долго шел по изрытой снарядами земле, неся на руках Мадембу, который был тяжелый, как спящий ребенок. Светила полная луна, и я был отличной мишенью, но враги не заметили меня, так что я дошел до зияющей дыры нашего окопа. Издали мне показалось, что окоп похож на лоно огромной женщины с приоткрытыми губами. Женщина эта лежала, раскрывшись, отдаваясь войне, снарядам и нам, солдатам. Это была первая непристойность, которую я позволил себе подумать. До смерти Мадембы я никогда не осмелился бы представить себе такое, подумать, что окоп похож на непомерно большое женское лоно, готовое принять нас – меня и Мадембу. Земное нутро было разворочено, мой рассудок – тоже, и я понял, что могу думать что хочу, только чтобы другие ничего об этом не знали. И тогда я спрятал свои мысли поглубже в голове, но сначала присмотрелся к ним получше. Они были странные.

В земном брюхе меня встретили как героя. Я шел под ясной луной, сжимая Мадембу в объятиях, и не видел, что из-под рубахи, стянутой узлом у него на талии, вывалилась кишка и длинной лентой тянется за нами. Когда они увидели жуткие останки, которые я нес на руках, они сказали, что я храбрый и сильный. Сказали, что сами не смогли бы так. Что, наверно, оставили бы Мадембу Диопа на съедение кры-

сам, что не посмели бы благоговейно собрать его внутренности в священный сосуд его тела. Они сказали, что не стали бы тащить его так далеко при полной луне на виду у врагов.

Они сказали, что мне полагается медаль, что меня наградят крестом за боевые заслуги, что моя семья будет гордиться мной и что Мадемба, который смотрит на меня с небес, тоже будет мной гордиться. Даже наш генерал Манжен будет гордиться. А я тогда подумал, что медаль меня мало волнует, но этого никто не узнает. Как никто не узнает, что Мадемба трижды умолял меня его добить, а я трижды остался глух к его мольбам и не пожалел его, повинуясь голосу долга. Но я стал свободным и мог больше не слушать эти голоса, которые велят быть безжалостным, когда следовало бы проявить жалость.

III

В окопе я жил как все, пил, ел как все. Иногда пел как все. Я пою фальшиво, и все смеются, когда я пою. Они говорили мне: «Все вы, Ндие, не умеете петь». Они подтрунивали надо мной, но уважали. Они не знали, что я о них думаю. А я считал их дураками, идиотами, потому что они ни о чем не думают. Солдаты – белые или черные – всегда говорят: «Есть!» Когда им отдают команду покинуть окоп и идти в атаку в открытую, они всегда говорят: «Есть!»

Когда им приказывают притвориться дикарями, чтобы нагнать страху на противника, они говорят: «Есть!» Командир сказал им, что противники боятся дикарей – негров, каннибалов, зулусов, и они смеялись. Они рады, что противник их боится. Они рады, что могут забыть о собственном страхе. И когда они выскакивают из окопа с винтовкой в левой руке и с тесаком в правой, то, выпрыгивая из земного брюха, делают безумные глаза. Командир сказал им, что они великие воины, вот они и рады с песнями идти на смерть, соревнуясь между собой в безумии. Какому-нибудь Диопу не хочется, чтобы кто-то сказал, будто он уступает в храбрости какому-нибудь Ндие, поэтому, как только раздастся пронзительный свисток капитана Армана, он выскакивает из своей норы, вопя как дикарь. Такое же соперничество существует и между родом Кеита и родом Сумаре. То же самое между

родами Диалло и Файе, Кан и Тхиун, Диане, Курума, Бей, Факоли, Салль, Дьенг, Секк, Ка, Сиссе, Ндур, Туре, Камара, Ба, Фалль, Кулибали, Сонко, Си, Сиссохо, Дrame, Траоре.

И все они погибли, не думая ни о чем, потому что капитан Арман сказал им: «Ну, что, шоколадные, вам по природе положено быть храбрее самых храбрых. Благодарная Франция с восторгом смотрит на вас. О ваших подвигах пишут все газеты!» А они и рады: выскакивают сломя голову на верную смерть, орут как буйнопомешанные, сжимая в левой руке положенную по уставу винтовку, а в правой – дикарский тесак.

Но я, Альфа Ндие, я понял, что сказал командир. Никто не знает, что я думаю, я волен думать, что хочу. Им же не надо, чтобы я думал то, что думаю. В словах командира кроется нечто немыслимое. Франции капитана Армана нужно, чтобы мы разыгрывали дикарей, когда это ее устраивает. Ей нужно, чтобы мы были дикарями, потому что противник боится наших тесаков. Я знаю, я понял, это не так уж и сложно.

Франции капитана Армана наша дикость на руку, вот мы – и я, и остальные, – и изображаем послушно дикарей. Крошим вражеские тела, калечим, рубим головы, вспарываем животы. Единственная разница между моими товарищами из разных племен – тукулерами и серерами, бамбара и малинке, суссу, хаусса, мосси, марка, сенуфо, бобо и прочими волофами, – единственная разница между ними и мной в том, что я стал дикарем осознанно. Они разыгрывают комедию, только когда вылезают из земли, я же разыгрываю ко-

медию только с ними, сидя в спасительном окопе. В их компании я и смеялся, и пел фальшиво, но они меня уважали.

Но как только я сломя голову с диким криком выскакивал из окопа – как младенец из материнского чрева, врагу уже было несдобровать. Только держись! И в окоп сразу после боя я никогда не возвращался. Я возвращался позже. Командир знал и не мешал мне, только всё удивлялся, как это я возвращаюсь всегда живой, всегда с улыбкой. Он не мешал мне, даже когда я возвращался поздно, потому что я приносил в окоп трофеи. Приходил с добычей, как дикарь с войны. После боя, темной ночью или ночью, залитой лунным светом и кровью, я всегда приносил вражескую винтовку, а вместе с ней – вражескую руку. Руку, которая ее держала, сжимала ее, чистила, смазывала, заряжала, разряжала и снова заряжала. Так что после сигнала к отступлению командир с моими товарищами, зарывшись живьем в спасительную сырость нашего окопа, задавались вопросами. Их было два. Первый: «Вернется ли этот Альфа Ндие опять живым?» И второй: «Принесет ли этот Альфа Ндие снова винтовку вместе с рукой, которая ее держала?» А я всегда возвращался в лоно земли последним, ветер ли, дождь или снег, как говорит командир, иногда под вражеским огнем. И всегда приносил вражескую винтовку вместе с рукой, которая ее держала, сжимала, чистила, смазывала, заряжала, разряжала и снова заряжала. А командир и мои товарищи, те, что остались в живых и каждый раз задавали себе те два вопроса,

радовались, слыша вражескую стрельбу и крики. Они думали: «Гляди-ка, вот и Альфа Ндие возвращается домой. Интересно, принес ли он опять винтовку, а вместе с ней – руку?» Чью-то винтовку, чью-то руку.

Возвращаясь домой с трофеями, я видел, что они очень, очень мной довольны. Они оставляли мне поесть, покурить. Они и правда были так рады моему возвращению, что никогда не спрашивали, как это у меня получилось, откуда у меня эта вражеская винтовка, эта отрубленная рука. Они радовались, что я вернулся, потому что любили меня. Я стал их тотемом. Мои руки убеждали их в том, что они живы, что еще один день прожит. А еще они никогда не спрашивали меня, что я сделал с остальным телом. Их не интересовало, ни как я поймал врага, ни как отрубил ему руку. Им был интересен только результат. И они веселились вместе со мной, воображая, как противники теперь трясутся от страха, что и им отрубят руку. А ведь командир и мои товарищи не знали, как я ловил их и что делал с остальным телом. Они не представляли себе даже четверти того страха, который испытывал противник.

Когда я вылезаю из земного брюха, я становлюсь безжалостным. Выборочно. Чуть-чуть.

Не потому, что так командовал мне командир, а потому что сам так подумал и захотел. Когда я с криком выскакиваю из земной утробы, у меня нет намерения убить много противников, а только одного, но по-своему, спокойно, мед-

ленно, не спеша. Когда я выбираюсь из земли с винтовкой в левой руке и тесаком в правой, меня не слишком занимают мои товарищи. Я их больше не знаю. Они падают вокруг меня лицом вниз, один за другим, а я бегу, стреляю, бросаюсь плашмя на землю. Я бегу, стреляю, ползу под колючей проволокой. Может быть, стреляя, я и убиваю случайно кого-то из врагов, сам того не желая. Может быть. Но мне лично нужна рукопашная схватка. Я затем и бегу, стреляю, бросаюсь плашмя на землю, ползу – чтобы поближе подобраться к противнику. Завидев их окоп, я только ползу, потом почти не двигаюсь. Притворяюсь мертвым. Жду спокойно, чтобы схватить одного из них. Дожидаюсь, пока он вылезет из своей норы. Жду вечерней передышки, прекращения огня.

Всегда кто-нибудь да вылезет из воронки, где он прятался, чтобы вернуться к себе в окоп вечером, когда никто больше не будет стрелять. И тогда своим тесаком я перерубаю ему подколенок. Это просто, он ведь думает, что я убит. Противник не видит меня – я для него труп и труп, один из множества. Ему кажется, что я вернулся из царства мертвых, чтобы убить его. Он так пугается, что даже не вскрикивает, когда я перерубаю ему подколенок. Валится на землю, и всё. Тогда я его обезоруживаю, потом затыкаю ему рот. Связываю за спиной руки.

Иногда это просто. В другой раз труднее. Некоторые сопротивляются. Некоторые не желают верить, что сейчас умрут, отбиваются. Тогда я бесшумно вырубая их на месте,

потому что мне всего двадцать лет и потому что, как говорит мой командир, я – сама сила природы. Потом я хватаю их за рукав или за сапог и потихоньку тащу за собой, пробираясь ползком по ничьей земле, как говорит командир, между двумя глубокими окопами, через воронки от снарядов и лужи крови. Ветер ли, дождь или снег, как говорит командир, я терпеливо жду, пока противник очнется, если я его вырубил. Или же, если тот, кого я притащил в воронку, не сопротивляется, думая меня обмануть, я просто жду, чтобы самому отдышаться. Жду, пока мы оба успокоимся. А пока жду, я улыбаюсь ему при свете луны и звезд, чтобы он не слишком дергался. Но когда я ему улыбаюсь, мне кажется, что я слышу, как он думает про себя: «Чего этому дикарю от меня надо? Что он собирается со мной сделать? Что ли съесть? Или изнасиловать?» Я могу так воображать, что думает противник, потому что я знаю, я понял. Часто, когда я гляжу в голубые глаза противника, я вижу там панический страх смерти, он боится зверства, насилия, людоедства. Я вижу в его глазах то, что рассказывали ему обо мне и чему он поверил, даже не встречаясь со мной до этого. Я думаю, что, когда он видит, как я с улыбкой смотрю на него, он думает, что ему не соврали, что я со своими белыми зубами, сверкающими в темноте, при луне или без нее, сейчас сожру его живьем или сотворю с ним что похуже.

Самое ужасное, когда, отдышавшись, я начинаю раздевать противника. Я расстегиваю верх его военной формы и вижу,

как голубые глаза противника подергиваются влагой. Тут я понимаю, что он боится того, что похуже. Храбрый он или потерял голову от страха, смельчак или жалкий трус, но в тот момент, когда я расстегиваю его гимнастерку, потом рубаху, обнажая его живот, такой белый-белый в свете луны или под дождем, или под снегом, который тихо падает на землю, тут я чувствую, как глаза противника как бы гаснут. Они все одинаковые – высокие, маленькие, толстые, храбрые, трусливые, гордые: как увидят, как я смотрю на их белый, трепещущий живот, сразу глаза у них гаснут. Все одинаковые.

Тогда я немного собираюсь с мыслями и думаю о Мадембе Диопе. И всякий раз слышу, как он умоляет зарезать его, и думаю, как безжалостно было с моей стороны заставлять его трижды умолять меня. Я думаю, что на этот раз я проявлю больше жалости и прикончу противника, не дожидаясь, чтобы он три раза умолял меня. Чего я не сделал для друга, я сделаю для врага. Из человеколюбия.

Когда противник видит, что я берусь за тесак, его голубые глаза гаснут окончательно. В первый раз противник пнул меня и попытался вскочить на ноги, чтобы убежать. После этого я стал старательно связывать противнику ноги в щиколотках. Поэтому, как только в правой руке у меня оказывается тесак, противник начинает дергаться и извиваться как буйнопомешанный, думая, что так ему удастся уйти от меня. Но это невозможно. Противнику следовало бы знать, что ему уже не уйти, потому что он связан крепко-накрепко, но

он все еще надеется. Я вижу это по его голубым глазам, как видел в черных глазах Мадемы Диопа надежду, что я прекращу его страдания.

Его голый белый живот судорожно поднимается и снова падает. Противник задыхается и вдруг воет – тихо-тихо, из-за кляпа, которым заткнут его рот. Он тихо воет, когда я беру все его нутро и выворачиваю наружу, под дождь, ветер, снег или лунный свет. Если в этот миг глаза его не гаснут насовсем, я ложусь рядом с ним, поворачиваю его лицо к себе и смотрю, как он умирает. Недолго. Потом перерезаю ему горло, как следует, гуманно. Ночью вся кровь черна.

IV

Видит Бог, мне не понадобилось много времени, чтобы отыскать Мадембу Диопа с вспоротым животом на поле боя. Я знаю, я понял, что произошло. Мадемба рассказал мне, когда его руки еще не дрожали, когда он просил еще по-доброму, по-дружески добить его.

Он шел в атаку на противника с винтовкой в левой руке и тесаком в правой, в самый разгар боя, разыгрывал комедию, изображая из себя дикаря, когда наткнулся на противника, который притворился мертвым. Мадемба нагнулся, чтобы разглядеть его, просто так, походя, и бежать дальше. Остановился, чтобы посмотреть на мертвого противника, который только притворялся. Он стал его разглядывать, потому что у него закралось сомнение. На какой-то миг. Лицо противника не было серым, как у мертвецов – белых или черных. А у этого был такой вид, что он только притворяется мертвым. Нечего его жалеть, подумал Мадемба Диоп, прикончить ударом тесака и всё. Но действовать надо было аккуратно. Этого недобитого противника следовало добить из предосторожности, чтобы не жалеть потом, когда кто-то из собратьев, из товарищей по оружию, пробегая той же дорогой, получит удар в спину.

И вот пока он думал о своих товарищах по оружию, о собратях, которых надо спасти от недобитого противника, по-

ка представлял себе, какой удар в спину тот может нанести кому-то, может быть и мне, его больше чем брату, кто бежит сразу за ним, пока он думал, что надо быть бдительным ради других, он потерял бдительность по отношению к себе. Мадемба рассказал мне еще по-доброму, по-дружески, еще с улыбкой, как противник вдруг открыл глаза и одним движением распорол ему живот штыком, который прятал под шинелью. Все еще с улыбкой вспоминая о том, как недобитый противник нанес ему удар, Мадемба сказал спокойно, что ничего не мог поделать. Он рассказал мне все это в самом начале, когда ему еще не было так больно, незадолго до того, как в первый раз попросил добить его. Незадолго до его первой мольбы, обращенной ко мне, его больше чем брату, Альфе Ндие, последнему сыну старого человека.

Прежде чем Мадемба успел отреагировать, прежде чем он смог отомстить, противник, в котором оставалось еще достаточно жизни, убежал к своим позициям. Между первой и второй просьбой я попросил Мадембу описать этого противника, который выпустил ему кишки. «Глаза у него голубые», – прошептал Мадемба, когда я лежал рядом с ним, разглядывая искромсанное железом небо. Я настаивал. «Видит Бог, все, что я могу сказать тебе, это что у него голубые глаза». Я не унимался. «Ну, какой он? Маленький? Высокий? Красивый или урод?» И Мадемба Диоп каждый раз отвечал, что я должен убить не противника, что уже поздно, что противнику повезло и он остался жить. Что теперь мне надо до-

бить, прикончить его, Мадембу.

Но видит Бог, я не больно-то слушал Мадембу, моего друга детства, моего больше чем брата. Видит Бог, я думал только о том, как бы мне выпустить кишки тому, недобитому противнику с голубыми глазами. Видит Бог, я думал только о том, как бы вспороть живот противнику, и мало внимания обращал на моего Мадембу Диопа. Я слушал голос местности. Я потерял жалость после второй просьбы Мадембы Диопа, который говорил мне: «Забудь ты о противнике с голубыми глазами. Убей меня сейчас же, мне так больно. Мы с тобой ровесники, нам и обрезание сделали в один день. Ты жил у меня в доме, я вырос у тебя на глазах, а ты – у меня. Так что ты можешь смеяться надо мной, а я могу перед тобой плакать. Я могу просить тебя обо всем. Мы больше чем братья, потому что мы сами выбрали друг друга братьями. Пожалуйста, Альфа, не дай мне умереть вот так, с кишками наружу, когда боль пожирает меня, вгрызается мне в живот. Я не знаю, высокий он или маленький, красивый или урод, этот противник с голубыми глазами. Я не знаю, молодой он, как мы, или ему столько же лет, сколько нашим отцам. Ему повезло, он спасся. Теперь он не имеет больше значения. Если ты мне брат, мой друг детства, если ты такой, каким я всегда тебя знал, если ты тот, кого я люблю, как люблю мать и отца, тогда умоляю тебя во второй раз: зарежь меня. Неужели тебе приятно слушать, как я хнычу тут будто младенец? Видеть, как я теряю стыд и достоинство?»

Но я отказался. Ах! Я отказался. Прости, Мадемба Диоп, прости, мой друг, мой больше чем брат, что я не послушал тебя сердцем. Я знаю, я понял, что не должен был тогда обращаться мыслями к противнику с голубыми глазами. Я знаю, я понял, что не должен был думать о мести, к которой взывало что-то в моей голове, вспаханной твоими рыданиями, засеянной твоими криками, в то время когда ты еще даже не умер. А потом я услышал мощный, величественный голос, который велел мне не обращать внимания на твои страдания: «Не добивай его, твоего лучшего друга, твоего больше чем брата. Не тебе отнимать у него жизнь. Не принимай себя за десницу Божию. Ни за руку дьявола. Альфа Ндие, как ты сможешь предстать перед отцом и матерью Мадембы, зная, что это ты убил его, довел до конца то, что начал противник с голубыми глазами?»

Нет, я знаю, я понял, я не должен был слушать этот голос, взорвавшийся у меня в голове. Мне надо было заглушить его, пока еще было время. Мне надо было уже тогда начать думать самостоятельно. Я должен был, Мадемба, добить тебя как друг, чтобы ты перестал плакать, метаться, извиваться, пытаюсь засунуть обратно в живот то, что из него вывалилось, хватая ртом воздух, будто только что выловленная рыба.

V

Видит Бог, я был безжалостен. Я послушал моего друга, я послушал врага. Так что, когда я ловлю противника, когда читаю в его голубых глазах те вопли, которые его рот не может испустить к небу войны, когда его вспоротый живот превращается в кашу из сырого мяса, я наворачиваю упущенное, я добиваю врага. Уже после второй мольбы, когда он умоляет меня глазами, я перерезаю ему горло, как жертвенному барану. То, чего я не сделал для Мадембы Диопа, я делаю для моего врага с голубыми глазами. Я снова стал гуманным.

А потом я забираю его винтовку, предварительно отрубив ему тесаком правую руку. Это долгое и очень-очень трудное дело. Я возвращаюсь обратно, проползая под колючей проволокой, по деревянным колючкам, торчащим из липкой грязи, в наш окоп, раскрывшийся, словно женщина, навстречу небу, весь измазанный кровью противника. Я похож на статую, вылепленную из грязи и крови, от меня так воняет, что даже крысы разбегаются прочь.

Мой запах – запах смерти. Смерть пахнет внутренностями, вывороченными из священного сосуда человеческого тела. На открытом воздухе внутренности любого человека, любого животного портятся. От самого богатого до самого бедного, от самой красивой женщины до самой уродины, от са-

мого умного животного до самого глупого, от самого сильного до самого слабого.

Смерть – это разложившийся запах нутра, и даже крысам становится страшно, когда они чувят, как я ползу под колючей проволокой. Они пугаются вида смерти, которая движется, приближается к ним, и разбегаются. Они разбегаются от меня и в окопе, даже когда я мою свое тело и стираю одежду, когда мне кажется, что я очистился.

VI

После четвертой руки мои товарищи по оружию, боевые друзья начали меня побаиваться. Сначала они от души смеялись вместе со мной, они были рады, когда я возвращался в окоп с винтовкой и рукой противника. Они были так довольны мной, что даже подумывали дать мне еще одну медаль.

Но после четвертой руки противника они стали смеяться не так открыто. Белые солдаты стали думать (я читал это в их глазах): «Странный этот шоколадный». И остальные, такие же, как я, «шоколадные» солдаты из Западной Африки, стали думать (я тоже читал это в их глазах): «Странный этот Альфа Ндие из деревни Гандиоль неподалеку от Сен-Луи, что в Сенегале. С каких пор он стал таким странным?»

И белые, и шоколадные, как говорит командир, все так же хлопали меня по плечу, но их смех, их улыбки стали другими. Теперь они очень, очень и очень меня боялись. Начиная с четвертой руки они стали шептаться.

В течение трех первых рук я был для них легендой, когда я возвращался, они меня чествовали, оставляли мне лучшие куски, угощали табаком, таскали ведрами воду, помогая мыться и чистить военную форму. В их глазах я читал благодарность. Ведь это вместо них я разыгрывал страшного дикаря, дикаря на военной службе. Противник, должно быть, трясся от страха, дрожал всем телом – от каски до сапог.

Поначалу мои боевые товарищи не обращали внимания на мой запах, запах смерти, запах мясника, разделяющего человеческие тела, но начиная с четвертой руки, они перестали меня нюхать. Они все так же оставляли мне лакомые куски, давали покурить табаку, собранного там и сям, одаживали одеяло, чтобы я согрелся, но улыбка теперь выглядела маской на их испуганных лицах. Они больше не помогали мне умываться, таская ведра с водой. Теперь я сам чистил свою военную форму. Вдруг все перестали хлопать меня со смехом по плечу. Видит Бог, я стал неприкасаемым.

Тогда же они отвели мне миску, кружку, вилку и ложку, которые оставляли в углу землянки. Когда я возвращался поздно вечером после атаки, гораздо позже остальных, в ветер ли, в дождь или в снег, как говорит командир, кашевар велел мне забрать их оттуда. А когда он наливал мне суп, то внимательно следил, чтобы не коснуться поварешкой ни краев, ни дна моего котелка.

Пошла молва. Пошла себе, пошла, постепенно обнажаясь. Понемногу теряя стыд. Сначала она была одета как надо, красиво, с украшениями, с медалями. А потом – вот бесстыжая – осталась с голой задницей. Я не сразу ее заметил, мне плохо было слышно, я не знал, что она там затевает. Все видели, как она бежит впереди, но мне никто ничего не говорил. Но, в конце концов, я расслышал то, что говорилось шепотом, и узнал, что странный понемногу превратился в сумасшедшего, а сумасшедший – в колдуна. Солдат-колдун.

Только не говорите мне, будто на поле боя не нужны сумасшедшие. Видит Бог, сумасшедший ничего не боится. Остальные, белые или черные, разыгрывают комедию, изображают буйное помешательство, чтобы спокойнее было подставляться под пули противника. Так они могут без особого страха бежать впереди смерти. Надо быть по-настоящему сумасшедшим, чтобы слушаться капитана Армана, когда он отдает приказ идти в атаку, зная, что у нас практически нет шансов вернуться живыми. Видит Бог, надо быть сумасшедшим, чтобы с воплем выскакивать из земного брюха. Ведь пули противника, эти шарики, падающие с металлического неба, не боятся воплей, им не страшно пробивать головы, вонзаться в мясо, ломать кости и обрывать жизни. Но временное помешательство позволяет забыть правду о пулях. Временное помешательство на войне – родной брат храбрости.

А вот когда ты кажешься сумасшедшим все время, постоянно, безостановочно, тогда тебя начинают бояться даже твои боевые друзья. Тогда ты перестаешь быть для них храбрецом, которого смерть не берет, тогда они начинают считать тебя другом смерти, ее пособником, ее больше чем братом.

VII

Для всех солдат, черных и белых, я стал смертью. Я знаю, я понял. Белые они или «шоколадные», как я, все они думают, что я колдун, пожиратель человеческого нутра, демон. Что я был таким всегда, но война пробудила во мне эту сущность. Пошел слух, будто я съел нутро Мадембы Диопа еще до того, как он умер. Бесстыжая молва утверждала, будто меня надо бояться. Молва с голой задницей говорила, будто я пожираю нутро не только противников, но и нутро друзей тоже. Распутная молва говорила: «Осторожно, будьте внимательны. Что он делает с отрезанными руками? Он показывает их нам, а потом они исчезают. Осторожно».

Видит Бог, я, Альфа Ндие, последний сын старого человека, видел, как бежит за мной молва – полуголая, бесстыжая, как непристойная девка. Тем временем белые и «шоколадные», которые тоже видели, как молва бежит за мной, и сами срывали с нее на ходу последнюю одежду, щипая ее со смехом за голую задницу, продолжали мне улыбаться, разговаривать со мной как ни в чем не бывало. Внешне они были приветливыми, но изнутри их раздирал ужас, даже самых сильных, самых стойких, самых храбрых из них.

Когда командир готовился свистком подать сигнал к выпрыгиванию из земного брюха, чтобы мы, как дикари, как временно помешанные, бросались под вражеские шарики,

которым наплевать на наши вопли, никто больше не хотел находиться рядом со мной.

Никто больше не смел коснуться меня локтем в разгар сражения, при выходе из теплой земной утробы. Никто больше не осмеливался упасть рядом со мной под пулями противника. Видит Бог, я остался на войне совсем один.

Так вражеские руки – начиная с четвертой – стали причиной моего одиночества. Одиночества среди улыбок, подмигиваний, подбадриваний со стороны моих товарищей-солдат – белых и черных. Видит Бог, они не желали, чтобы их сглазил солдат-колдун, не желали, чтобы на них навлек несчастье тот, кто водится с самой смертью. Я знаю, я понял. Они не так уж много думают, но они точно думают, что все на свете имеет свою хорошую и плохую сторону. Я прочитал это у них в глазах. Они думают, что пожиратели людского нутра не так плохи, когда довольствуются нутром противников.

Но пожиратели душ не хороши, когда едят нутро товарищей по оружию. Ведь кто их знает, этих солдат-колдунов? Они думают, что с солдатами-колдунами надо быть очень и очень осторожными, всячески угождать им, улыбаться, беседовать с ними о том о сем, но издали, никогда не подходить слишком близко, не дотрагиваться до них, не соприкасаться, не то – верная смерть, конец.

Поэтому после нескольких рук, когда капитан Арман свистком подавал сигнал к атаке, они держались по обе сто-

роны от меня на расстоянии шагов десяти. Некоторые перед самым выходом из земной утробы, прежде чем выскочить из нее с диким воплем, старались не смотреть в мою сторону, даже искоса, как будто взглянуть на меня – это все равно, что коснуться глазами лица, рук, плеч, спины, ушей, ног самой смерти.

Как будто посмотреть на меня – это все равно что умереть.

Человеческое существо всегда пытается самым нелепым образом возложить на кого-то ответственность за происходящее. Именно так. Так проще.

Я знаю, я понял – теперь, когда могу думать что хочу. Моим боевым товарищам, и белым, и черным, нужно верить, что это не война может их убить, а дурной глаз. Им нужно верить, что убьет их не случайная пуля – одна из тысяч пуль, выпущенных противником. Случайностей они не любят. Случайность – это так нелепо. Они хотят, чтобы за это кто-то отвечал, им больше нравится думать, что вражескую пулю, которая их настигнет, направлял кто-то злой, нехороший, злонамеренный. Они верят, что этот злой, нехороший, злонамеренный человек – я. Видит Бог, они плохо думают и очень мало. Они думают, что если после всех этих атак я остался жив, если меня не задела ни одна пуля, так это потому, что я колдун. А еще они думают о плохом. Они говорят, что много наших боевых друзей погибло из-за меня, что им достались пули, которые предназначались мне.

Поэтому, улыбаясь мне, некоторые из них лицемерили.

Поэтому другие отворачивались, как только я появлялся, а третьи закрывали глаза, чтобы не коснуться, не задеть меня взглядом. Я стал для них табу – как тотем.

Тотемом рода Диоп, Мадембы Диопа, этого хвастуна, был павлин. Это он говорил: «Павлин», а я отвечал: «Венценосный журавль». Я говорил ему: «Твой тотем – просто птичка, а мой – хищный зверь. Тотем рода Ндие – лев, это благороднее, чем тотем рода Диоп». Я мог позволить себе повторять Мадембе Диопу, моему больше чем брату, что его тотем – просто курам на смех. Родство душ и одинаковая любовь к шутке сменили вражду и месть, которые существовали между нашими семьями, между нашими родами. Родство душ и одинаковая любовь к шутке смывают былые обиды смехом.

Но тотем – это серьезнее. Тотем – это табу. Его не едят, его оберегают. Диопы готовы были бы рисковать жизнью, защищая от опасности павлина или венценосного журавля, потому что это их тотем. Людям из рода Ндие нет нужды защищать от опасности льва. Льву опасность никогда не грозит. Правда, рассказывают, что и львы никогда не едят людей из рода Ндие. Так что защита тут обоюдная.

Мне не сдержат улыбки, когда я думаю, что Диопам не грозит быть съеденными павлином или венценосным журавлем. Мне не сдержат улыбки, вспоминая, как смеялся Мадемба Диоп, когда я сказал, что Диопы поступили не слишком-то умно, выбрав своим тотемом павлина или венценосного журавля. «Диопы такие же непредусмотрительные и

хвастливые, как павлин. Раздуваются от гордости, хотя их тотем – всего лишь спесивая птичка». Вот что рассмешило Мадембу, когда мне вздумалось подшутить над ним. Мадемба только ответил, что не люди выбирают тотем, а тотем сам выбирает человека.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.